Наталья Рубанова

БАЛЕРИНА

монодрама: театр в прозе

*из цикла «Тёмные аллеи 21 век»*

В общем, со мной такое нечасто. По правде, я второй раз в жизни знакомился в метро – первый был в незабвенном, самом сумасшедшем на свете студенчестве (сладкий кошмарик начала девяностых, Тверской бульвар), когда я на спор пристал к какой-то блонде. Ее волосы напоминали шерсть болонки, только выглядели более ухоженными, а глаза – …совсем кукольные были глаза! Синее такое стекло декоративной бутылки. Для сухих цветов.

* Извините… Может быть, это и некорректно с моей стороны… Но на самом деле… я подумал, что если вы... – я нес чушь и видел, как заливаюсь краской под усмехающимся Женькиным взглядом. (Женька – еще тот жук: стиляга, Дон Жуан, переводчик, ценитель хороших сигар; женщины от него без ума, геи тоже).

Впрочем, краснеть долго не пришлось: болонка оказалась профессионалкой и через полминуты назвала цену – действительно, зачем терять время? Я сказал ей почему-то «Спасибо», на Сухаревке она вышла, а Женька усмехнулся и в один миг содрал этикетку с пивной бутылки. В тот момент мне показалось, будто с меня сняли скальп: я страдал открытой формой неразделенной любви, подобной псориазу – всё в язвах, но для посторонних не заразно (…до сих пор не могу произносить *ее* имени, бывает же такое!), и пытался довольно цинично разрядиться… Но вот к встрече с профи оказался не готов – природная брезгливость снова взяла верх, а у Женьки в кармане смеялись презервативы: они всегда у него там смеялись, даже слышно было. Тогда, в начале девяностых, он хлопнул меня по плечу, и мы пошли к поэту Тарасову – само это вот, «поэт Тарасов», звучало жутко смешно и непоэтично – для усугубления (0,5 «Армянского»): мне ведь нельзя, невозможно оказывалось больше ТАК… по *ней*…! Все меня вытягивали. Все. Кроме *нее.* Но нужна была только *она,* и «все» оказывались не у дел. *Она* знала всё, и потому как можно реже появлялась в институте. Собственно, ее жизнь…

 В общем, дело прошлое. Кто не любил в начале девяностых, а? Только младенец или старик. Сам воздух был пропитан тогда любовью. Ожиданием чуда. Самим чудом. И деньгами. Которые можно было… откуда-нибудь взять. Открыть какое-нибудь ООО, например. Ограничить ответственность. Прорулить много чего, забыв о дипломе Литинститута, который, впрочем, не мешал. Что я и сделал: сначала одна, а потом несколько точек с надписью «Обмен валюты» красовались в самом лучшем в мире городе из шести букв. Так я попал в точку: золотое время! Сейчас это было бы уже невозможно. Во всяком случае, мне.

 Да, я люблю Москву. Очень. И «аканье» местных не раздражает. Хотя родился в районе Мойки. Так получилось. Питер слишком часто навевал тоску; я не ценитель депрессивных городов. Даже очень красивых. А Питер ОЧЕНЬ красив. Но весь этот «Петербург Достоевского» – сущий кошмар. Для меня. Поэтому я и уехал в столицу: яркую, пошловатую, но без… в общем, без всего этого, что так раздражало меня в городе, где шемякинские сфинксы подглядывают за тобой, куда б ты ни пошел. И поступил. Сам. С первого раза и без блата. Даже не ходил на подкурсы. Просто много читал… и с детства обожал выдумывать всякие истории. Мне долго не верили. Что САМ. Часто ведь там по-другому. Ладно…

 Я люблю Москву. Так же, как любил когда-то – *ее*. Она и сама была из Москвы. *Однокоренная* такая – в смысле, с Москвой одного корня; ей нравилось мое определение, она смеялась. Длинноногая. Джинсово-клетчато-дымная. С длинным таким черным шарфом и глазами Франсуазы Саган: я действительно поразился сходству.

«*О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!.. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе! Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник…»*

Мы вместе посещали по вторникам семинары небезызвестного Драматурга, учившего нас уму-разуму, а также тому, чему научить невозможно: связыванию самых разных слов в пьесы, на которые публика повалит. «Увлекательность – вежливость литератора! – цитировал он. – Но если говорить о более серьезных вещах… Этимологически мейнстрим есть «основное течение». Наиболее распространенный в определенную эпоху тип письма. Но тогда нужно причислять к этому направлению, например… – он поморщился, и обозначил несколько звезданутых имен. – Сегодня, обсуждая на семинаре новую пьесу… – а потом произнес *ее* прекрасную фамилию, – мне хочется назвать мейнстримом именно этот текст. Который вы, надеюсь, прочитали. Все прочитали? – он обвел аудиторию строгим взглядом, и народ затаился, притих. – Потому как мейнстрим, конечно же, не является чем-то массовым и, на самом деле, не определяет «основное течение». Хорошего много не бывает. Поэтому – если перейти к той же прозе – Нарбикову, например, читает очень узкий круг. И Саррот. Или некоторые тексты Гостевой. Эти авторы одного корня, хотя и очень разные. И во времени тоже. К ним, несмотря на другой жанр, я хочу причислить и…» - Драматург снова назвал *ее* прекрасную фамилию. Он редко хвалил наши тексты; сдержанное «неплохо» практически всегда шло по его шкале как максимум.

 *Она* была единственной девушкой, к которой Драматург не относился снисходительно: у нее случались классные работы. Именно случались. Потому как писала она от случая к случаю. Хаотично. И ничуть этим не запаривалась, не сдавала никаких «норм» – говорила, что это… не очень полезно для души. Просто писала, когда хотела, а когда не хотела – не писала, и это было гениально: ТАК жить. ТАК выглядеть.

«…*Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между* *девицами*…»

Как-то, в самом начале девяностых, она мне сказала: «Рассказ – это кровопускание, роман – долгое лечение минеральной водой. Не хочу пить минералку. Нужна кровь – но в традиционном театре, думаю, она уже невозможна». И все-таки, недавно в арбатском Доме книги я купил сборник ее пьес и сценариев с абсолютно некоммерческим названием «Такая легкая эвтаназия». Читалось сие со спазмами в горле и в то же время легко; книга выстрелила тиражом в десять (!) тысяч в издательстве, где я когда-то умудрился поработать с полгода – еще до того, как открыл ТОЧКУ. И поставил *точку*. Ведь *она* вышла замуж за иностранца! ОНА ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА!! За финна. Сеппо Тууленсуу, скрипача, приезжавшего в Союз на гастроли. Тогда. *Она-а-а-а-а-а*… Гоорячиие финские пааарни… «Ты сильный. Я не буду писать», - и улетела, оставив лишь названия своих пьес на театральных тумбах: пьесы ставились; *ей* завидовали. Да еще и улетела!! Из наших девяностых – только в свои. Чтобы носить двойную фамилию. Я хотел считать «Тууленсуу» – безумное, безумное количество гласных, с которыми я никак не мог согласиться! – приставкой. Иногда это удавалось: тогда я встречался… с девками встречался. Мы расставались легко; я никогда не был окольцован и, в отличие от Женьки, скрывавшего измены от жены – красивой грудастой переводчицы, немного влюбленной в меня (но только немного) – не боялся, что от меня за версту нести будет какими-нибудь духами. То да сё, в общем. Обычные дела.

 Я страшно любил. Страшно! ТАК, наверное, не бывает. Но у меня – было. И те несколько десятков ночей. Подаренных *ею* – мне… Просто так. Потому что *ей* тогда так хотелось... Маленькая спальня на Патриарших… и другие чужие квартиры…

«*Два сосца твои – как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями…* *мед и молоко под языком* *твоим…* *о, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!»*

Те вечера, когда мы гуляли по Москве... Сад «Эрмитаж»… Петровка…Черт! Наши разговоры о литературе. И не только. И не только!! Она очень любила Питер. И добавляла всегда: «От твоего города до Финляндии рукой подать». И подавала. Мне, как милостыню, свою: и я брал. Вдыхал запах ладони. Черт! Много лет я искал его – этот запах. И ни в одной. Никогда. Не находил. Наверное, он существовал в единственном экземпляре… Поэтому я и прочитал сейчас *ее* книгу за ночь, под утро раскис и, обняв губами сигарету, стал раскачиваться на стуле. «…*драматург, живущая ныне в* *Хельсинки…*» – курсивилось на переплете… Что я знал о Хельсинки? Что? Что? Что?! А вот что. Из интернета. Наверное, это не-всем-не-всем интересно, но меня цепляло. Потому что *она* там жила. Теперь. И всегда.

*«Финляндия – страна лютеранская, лежащая на стыке западной и восточной христианских цивилизаций… при оценке перспектив миграции в Финляндию необходимо учитывать тенденции развития населения страны в будущем. Известно, что с 2005 года число лиц, достигших пенсионного возраста, будет выше числа вступивших в трудоспособный возраст. Следовательно, возникнет нехватка рабочих рук, что будет способствовать изменению иммиграционной политики в сторону либерализации…».*

Еще я знал, что там обалденная природа. Покупал альбомы, открытки какие-то… Как мальчишка. И всё! Ничего не знал больше. Да, еще: *она* там! Замужем.

 «Счастлива ли она там, среди гор и лесов?» Быть может, все эти годы я слишком часто задавал себе такой вопрос: он появлялся как-то сам собой, и также независимо удалялся. Ему было наплевать на меня, вопросу. Я слышал его и в 94-м, когда еще снимал квартиру, и в 97-м, когда купил машину (не любить метро – не пижонство), и в 99-м, когда, разменяв питерское жилье, прописался в Москве: МОИ стены смотрели на меня в упор, и ни один мент… Поначалу из какого-то озорства хотелось подойти к ним, серым крысам подземки, и ткнуть пальцем в графу *место жительства*: «Не хотите ли проверить мои документы? Простая формальность!» А потом начался новый век – да что там новый век, новое тысячелетие! – а наглый вопрос остался: «Счастлива ли она там, среди гор и лесов?». Он словно повис в воздухе. Я спрашивал себя снова и снова – счастлива ли?.. Тем временем в обменниках меня называли за глаза «хозяином», не предполагая даже, что параллельно я занимался совершенно недоходным, но абсолютно своим делом – писал то, что именуется «современной русской прозой», забросив невостребованные, никому не нужные пьесы, и периодически печатался в «Новом мире», тираж которого заметно превышал тираж всех «толстяков». Но ни одно крупное издательство не выпустило меня *ее* двадцатитысячным; так, по мелочи… меньше раза в три… Повести и рассказы: на самом деле, тексты для театра никогда не удавались мне… как *ей*. Поэтому – «проза всей жизни»; к счастью, не совсем в стол. За свой счет издаваться не мог: тешить собственное самолюбие таким образом не прельщало, нет… – как не прельщало и тащиться на метро: моя «немка» стояла в автосервисе, ее обещали только завтра с утра (полетела коробка передач), времени было в обрез, а на Садовом – пробка: так я оказался совсем близко к красной букве **М** и народу, которого не видел в таких количествах лет несколько. Все-таки, не любить метро – не пижонство. Нет-нет. Совсем не пижонство.

 В начале этого века (каково звучит!), в 2000-м (три н*у*ля до сих пор смотрят на меня пустыми никчемными глазницами), когда финская столица, как оказалось, отмечала свой 450-летний юбилей, я поехал к *своим*, в Питер, где не был… достаточно не был, в общем. Свои встречали как своего, много расспрашивали, еще больше говорили, поили, тащили в клубы и проч. Я неприятно поразился, увидев, во что превратили, например, «Сайгон»: а ведь когда-то… «Из твоего города до Финляндии рукой подать!» – и чья-то рука мне подала: то был билет. После всего этого театра («Как Москва?» – «Стоит!» - «Старик, я столько не выпью…» – «Сколько тебе платят?» – «Я сам себе плачу» – «…а девочек лучше брать не здесь, здесь они никакие…» – «Да не надо мне девочек…» – «Печатаешься? Неужели толстые журналы еще живы? А как же пьесы?!» – «Ты похудел, ты слишком много работаешь. Не спишь…» – «Мам, я в порядке») мне показалось, не сядь я тотчас в поезд, то задохнусь.

 …«Sibelius» шел чуть больше пяти часов; когда я приехал и отдышался, время сразу, само по себе, отстало от нашего на час. Я перевел стрелки, выдохнул Россию и подумал, что всегда отставал от *нее*… и продолжаю делать это до сих пор. Что мне не поспеть. Не угнаться. За *ней* не угнаться. И все же номер телефона уже жег руку. Номер, по которому никак нельзя было звонить. И не звонить – тоже. Никак нельзя! МНЕ С НЕЙ НЕЛЬЗЯ ВСЁ! Эта мысль вдруг так больно залепила мне пощечину, что даже морской воздух – чистый, чужой, уже совсем не такой, как в Питере – я ощутил, только когда оказался в центре юбилейного Хельсинки, на Маннергейминтие (как *она* запоминает эти длинноты, а?), пройдя туда от Привокзальной площади. Должно быть, где-то неподалеку билось и *ее* сердце… и – кто знает? – наш пульс играл в эту чертову жизнь равномерно. «Без хроматизмов», – сказала бы *она*… но промолчала: *она* совершенно гениально умела молчать, со вкусом и знанием дела, и это ее молчание никогда не скатывалось в пустоту. Оно было очень наполненным! Разноцветным! Оно… наверное, это и называется «слепая любовь», да? Иногда я смотрел на себя со стороны и не узнавал: из «умеренного циника» превратиться в глупого щенка? Да даже не в щенка, а… в теленка! Что со мной?

 Я поднял воротник: центр города, со всех сторон открытый морю, продувался ветром… основательно так продувался; финские «минус три» показались мне ледяной русской десяточкой. Я закутался в шарф, зашел в первый попавшийся бар (хорошая водка!), раскрыл путеводитель: «Шведский король Густав Ваза основал Хельсинки в 1550 году…» – и тут же закрыл. Нет, я не хотел никаких дат, их и так оказалось слишком много в прошлом веке: целых две – ДО и ПОСЛЕ. ПОСЛЕ *Нее*. По мере того как я пил – а пил я небольшими глотками, чтоб согреться – не мог же я напиться как свинья в городе, где жила теперь *она,* пусть даже и с Тууленсуу (никогда не соглашусь с таким количеством гласных! Это же кошмар, кошмар! Ту-у-лен-су-у!!) – я все больше думал о Гольфстриме. Да, о Гольфстриме! Какого черта так холодно, если здесь теплое течение? Или, может, я один мерзну? Точно! Я МЕРЗНУ ОДИН!

 Выйдя из бара, я стал разглядывать прохожих: никто из них не выглядел продрогшим. Нет! На них были куртки ярких расцветок – сиреневые, красные, оранжевые, лимонные, голубые. Многие люди улыбались, но женщины, несмотря на улыбки, не были красивы. Как *она*… (К*а*к *она*?! К*а*к *она* там? Как *она* ТУТ?!) Куда им до *нее*! Что все они знали о *ней*? «17000 человек говорят на саамском языке. Это язык коренного населения Лапландии. А на шведском и финском…» – я снова закрыл путеводитель. А потом глаза. И представил Лапландию. И Снежную Королеву, укравшую у меня *ее*: перенесшую на огромных белых санях из моей страны – в чужую. По небу. И мне почудилось, будто *она* – тот самый Кай из сказки, живущий в холодном неведении в замке. Вот *она* складывает из льдинок слово ВЕЧНОСТЬ. Вот рассказывает что-то Снежной Королеве, а та снисходительно кивает и улыбается. Да она просто воровка, эта королева! Ее нужно срочно растопить на солнце! Слезами на солнце… Где взять столько солнца? И столько слез? Ни того, ни другого попросту не существует в природе: все белое, белое, белое! Белое. И ледяное… Я сжал кулаки – интересно, этот вот Тууленсуу говорит на саамском или все-таки на менее экзотичном? Учит ли *она* финский или довольствуется английским? Часто ли слушает Сибелиуса в исполнении… этого…м-м… скрипача?

 «Да, похоже, жизнь – самая мыльная из всех опер. Резонно?» – спросил я сам себя. – «Нет», – ответил внутренний голос, который я уже и не пытался онемечить. В общем… вспомнилось вот что: «Don't trouble trouble until trouble troubles you, it only doubles trouble and troubles othes too» – «Не трогай беду до тех пор, пока она тебя сама не тронет, это только удваивает несчастья, которые отражаются и на окружающих». Поговорка времен Литинститута. *Ее* времен.

 …и очень захотелось поговорить. Я набрал в легкие воздух и подошел к телефону-автомату (до отеля-таки не дотянул). И набрал. Номер. *Ее*.

 Гудки пошли гулкие, тягучие. Как морской ветер. И холодные. Как Балтика. Трубку долго не брали. Слишком. А потом резкий женский голос прозвучал одними гласными. Как будто выругался. И в то же время пропел. Ошибка? Я набрал еще: то же самое. Я думал, что подойдет этот самый Тууленсуу, и был уже готов сбросить номер. Но кто эта женщина? Его мать? Сестра? Домработница? Лишь потом я догадался, что молчал в ухо Снежной Королевы.

 Я повесил трубку, выпил в баре еще сто пятьдесят (очень хорошая водка!) и поехал в отель. Долго лежал в кровати, не шевелясь. Сказать по правде, впервые в жизни мне было еще хуже, чем два года назад: тогда умер мой лабрадор. Шикарный пес! От рака печени. Умнейший пес! Он выл ночи напролет. *Такая легкая эвтаназия*… Мне не хотелось жить после той больницы, но и умирать было некогда. Некогда! Умирать.

 Лежа в финском отеле, я будто стал *им*: обреченным животным… рак души – всегда летальность: всего лишь бессмысленное существование белкового тела. Которое, хоть и может быть просто телом, все же не имеет на то права. Не имеет!! И всё. Баста.

 Есть, спать и размножаться, следуя лучшим традициям соединяющихся пролов всех стран, явно не хотелось. Я смотрел в потолок и думал о *ней*. Мне не нужны были Хельсинки, по большому счету – к тому же, они не подарили мне СРАЗУ того восторга… в общем, не подарили. Может быть, умышленно. Но мне достаточно было дышать с *ней* одним воздухом. Ааа-ууу…Гласные буквы. Очень много гласных букв, из-за которых я лежу в отеле чужой страны и складываю из огромных ледяных глыб слово ВЕЧНОСТЬ. Чтобы. Освободить. *Ее*. Из заточения. Снежной. Королевы. Это глупо, да? Как же это глупо, черт!! Ааа… Я и сам понимал нелепость… Ууу… нелепость, и точка. Ааа-ууу!!!

 Чтобы не свихнуться, на следующий день я отправился на остров Суоменлинна (никогда не выговорить без ошибки) да посмотрел на церковь в скале Темппелиаукио; от подробностей избавлю. А потом опять позвонил *ей*. Я не мог иначе!! Хотя бы раз в жизни стоит испытать такое. А больше, наверное, не бывает, а если и «да», то в виде исключения: человек не может любить бесконечно… разных людей: душевные шины изнашиваются. Чувства притупляются. Начинаются сравнения. Подсчеты просчетов: «А ведь я мог тогда и не…» Выдвижные ящички памяти захламляются тем, что невозможно выбросить. Так хлам становится тянущей за душу ношей; так в него можно напиться. В общем, ехать с такими шинами становится невозможно. Или очень непросто. Я не буду объяснять, почему. Не могу больше никому ничего объяснять! Просто не вижу смысла. Вообще… не вижу смысла. Где-то я видел открытку, смешную и очень дельную: с внешней стороны нарисованы лица – много разномастных лиц: белых, желтых, черных, красных… и какая-то веселенькая надпись на тему всех этих пиплов. И многоточие. А внутри – окончание: «Но у всех людей есть общее свойство: ОНИ НАПРЯГАЮТ». Напрягал ли я *ее*, когда звонил? Не знаю. Но, может, она хотя бы немного скучала по России, и мое внеплановое явление…

 - Ты? Ты где? – *ее* голос был веселым и оочеень далеким… ааа-ууу… такие голоса не скучают.

 - Здесь. Приехал вчера… по делам. Заодно решил узнать… как ты… как ты тут… - я говорил, а *она* молчала. Молчала так, как только она одна и могла молчать: радужно, наполненно, стильно.

* Хорошо… – *она,* конечно, поняла, по каким «делам» я приехал. – Завтра утром на Мекелининкату. В одиннадцать, – и рассказала, как доехать.

 (Много позже, риторически провоцируя себя на тему «а был ли счастлив», я вспоминал именно тот хельсинский вечер. Вот я сжимаю телефонную трубку. Вот слышу *ее* голос. Вот улыбаюсь. Завтра в одиннадцать… я увижу *ее*!! Живую. Настоящую. Сумасшедшую. Женщину, каких на свете действительно не много: за это ручаюсь. Не много. Почти нет. Да потому что *она* – одна!! ОДНА-а-а-а!!)

 На следующее утро я стоял и ждал *ее*, придя на полчаса раньше: что там говорят в таких случаях про пульс и сердце? В общем, так оно и было – и с пульсом, и с сердцем: всё билось, стучало, трепыхалось, дергалось, болело, мучилось, звенело. Ждало! Как полагается. По-взрослому. Классический вариант.

 Еще в Москве, давным-давно, я купил *ей* платиновое колечко с редким бирманским красно-фиолетовым рубином – точнее, заказал Эдику, знакомому ювелиру; размер помнил всегда – шестнадцать с половиной. Это был природный рубин, очень ценный. Эд сказал, что пропорции вставки надо выбирать так, чтобы за счет полного внутреннего отражения света можно было добиться лучшей яркости и цветового оттенка камня. И добился, гад! Потрясное кольцо вышло; такое надо видеть… *ей* просто не могло не понравиться. «Эд, ты гений», – сказал я и загрустил.

 - Привет! – *она* хлопнула меня по плечу; *она* всегда подходила неожиданно – совсем с другой стороны ожидания. *Она* была одета… очень хорошо. И очень просто. Плюс едва уловимый запах духов. Очень хороших духов. *Ее* духов.

* Привет, – а что еще ответишь через тринадцать месяцев?

И мы пошли по Мекелининкату. Там же, на берегу моря, жило своей собственной жизнью кладбище, похожее на парк. «Это Хиетаниеми», – сказала *она*, выбрав его местом нашей прогулки: как же я не догадался! Конечно же, мы будем гулять по кладбищу… очень даже символично… Все, что случилось до этого, похоронено…

 Я спросил, как ей живется. «Удивительная страна! Белки сами на руки прыгают!» – и засмеялась, звонко-звонко, как в Литинституте раньше, ей-богу… У меня по спине потекла струйка пота: такое напряжение! Безумное. Адское. Мне так хотелось *ее*… Всю… Навсегда. Тогда я протянул ей маленькую треугольную коробочку. «Вау! – сказала *она*, надевая кольцо. – У тебя отличный вкус!» – «Спасибо…» – и получилось, будто я благодарю ее за подарок: а ведь я действительно благодарю ее за подарок! Разве не подарок – это кладбище? Да пусть даже мертвые встанут из могил и начнут ходить с нами по аллеям! Главное, что МЫ РЯДОМ! Сколько я ждал этого момента, сколько, а? Что бы я ни делал, я делал с оглядкой на нее. Для нее и ради нее. Мне хотелось, чтобы она оценила. Смогла мной гордиться. Поняла свою ошибку и вернулась назад. В нашу Москву. И мы пошли бы, к примеру, в «Парижскую жизнь». Там крутят Чаплина и тапер играет классный джаз. Я ждал бы ее за столиком… одиннадцать минут. А она пришла бы в маленьком черном платье. Хотя могла бы и в халате – ей всё шло. И я бы порадовался, что она все-таки не в халате. И заказал бы вино… И рыбу… и гадов морских, каких она любила… Но вместо этого мы ходили по кладбищу Хиетаниеми и играли свои странные роли; мне казалось, маски легко отвалятся… Но легко не получилось. С точностью до наоборот получилось.

 Когда-то нас учили, что у Чехова «все в подводных течениях». У нас же были подводные камни. И еще – минное поле. Я не боялся подорваться – на самом деле, я приехал, чтобы уговорить *ее* развестись. Вернуться. Я очень многое мог бы дать ей там. В Москве. Теперь. Не только деньги, нет-нет… Богатые и правда плачут, я теперь знал! Сам проверил, на собственных глазах. Когда *она* улетела.

 Я мог стать ее рабом. Но ей не нужен был раб! Царем… но и в царе она не нуждалась! Мог стать ей братом – да только он у нее был. Я мог заменить ей друга – но зачем ей влюбленный друг?! Будто читая мои мысли, *она* вдруг запела: «Ми-иленька-ай ты мо-ой, возьми-и меня-а с сабо-ой! Та-ам, в кра-ю да-лёо-ком…» – получилось нарочито театрально. Еще бы, каков сюжет! Он любит ее, она выходит замуж и уезжает в Финляндию, он мучается и едет в Хельсинки лишь затем, чтобы вернуть ее. Они встречаются на кладбище, и она поет своим грудным голосом русскую песню… Чем не мыльная опера?! С таким душком самоварным… Кольцо с рубином…

«*О, если бы* *ты был мне брат, сосавший груди матери моей! Тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы…»*

 Хотелось заорать. Зареветь. Зарычать. Поднять всех мертвецов из их «музейных» могил. Чтобы мир стал другим. Не таким дерьмовым, как сейчас. И сей час. Не таким фальшивым. Когда думают одно, а делают другое. Чтобы мир стал другиииим!! Сколько гласных!! А-а-а-а-а!! И увести *ее*. И увезти. Ааа-ууу… тысячи букв, с которыми я не согласен, душат меня своей длиной. Они слишком певучие, чтобы я мог воспользоваться ими. Я ОДИН. В петле «ааа» и «ууу». На кладбище своей большой и чистой... Тьфу, черт… Как баба…Совсем расклеился…

«*Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо* *крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные…»*

«…и Сеппо думал… – я прослушал, о чем думал этот ее… муж, а она продолжала: – Недавно вернулись из Роскиле. Древняя столица Дании. Видели Кронборг – замок Гамлета…»

 Я резко повернулся к *ней* и стал трясти за плечи: «Милая, милая, девочка, девочка, глупая, глупая…» – она не отстранялась, только с каким-то неподдельным ужасом смотрела на меня во все глаза… глазами Франсуазы Саган: я точно знал – она захочет записать… сделать мою любовь сюжетом… очередной пьесы. Наверное, у нее в голове вертелась уже первая фраза героя. Или вторая. Диалог, там. Моно. Тот или иной оборот. Вариант формы. Или ее отсутствия. *Она* талантлива! Мне всегда нравилось, как она пишет. Несмотря на мое к ней отношение. *Она* востребованна! Просто так у нас в магазинах книги на уровне глаз не ставят… Редкое сочетание дара и везения. И какая-то собачья тоска во взгляде – на миг, но я разглядел. Быть может, чтобы писать, нельзя быть счастливым? Мне не хотелось в это верить. Все лучшее в искусстве, созданное из страдания, не умаляет и счастья. В литературе. В музыке. Да где угодно. А *она* тем временем отстранилась и, опустив голову, быстро-быстро так заговорила: «Ты меня прости. Правда прости. Не нужно было никуда идти. Это от моего эгоизма. Я подумала – а почему нет? И все. Свежие русские сплетни… Дура. Я всегда так мало о тебе думала… Но я действительно здесь счастлива. От самого воздуха. От ветра. Белки на руки сами прыгают. Удивительно! Сеппо… – *она* осеклась, а потом продолжила. – Я никогда не любила Москву. Грязный город с чудовищной энергетикой. Озлобленную толпу в метро. Понимаешь? Ты вырос в Питере, ты хотел себе что-то доказать… Хотя, я бы никогда не уехала из Питера – ничего он не депрессивен! И ты доказал. Приехал в столицу, поступил в Лит с первого раза. Не то что я… я со второго. У тебя теперь своя квартира – в столице это дорого! А ты смог. У тебя свой бизнес. Печатаешься. Это ничего, что редко – главное знать, что ты нужен… Тебе удается совмещать таки-ие противоположности… несовместимости… – она развела руками. – А я родилась в Москве. Ро-ди-лась, и все. Я ее не выбирала. Однокоренная москвичка, – она усмехнулась. – И мне не нужно там было ничего добиваться. Только в буквах. А я хотела чего-то серьезного… Еще. Кроме букв. Глубокого… Уехать в другую страну и… скучать по друзьям. Родителям. Приезжать иногда. Быть иностранкой, в общем. Глупо? Но мне нужно это мучение… оно сладко… нужно для моих текстов. Просто «выше» Москвы в России ничего нет, а мне так хотелось прыгнуть… туда, дальше… За горизонт… Понимаешь? И я прыгнула… в любовь. Как в море»…

«*Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических!..»*

*Она* смотрела в меня своими карими, а я понимал, что больше никогда. Никогда. Ниикагдааа! – боже, сколько гласных подряд, они душат, душат! – не поеду в Хельсинки… Там очень холодно… несмотря на Гольфстрим. И белок.

Вернувшись в Москву я поставил Концерт Яна Сибелиуса для скрипки с оркестром – кажется, ре-минор, точно не помню. Помню только, что солировал Сеппо Тууленсуу. Диск подарила мне *она* – там, на кладбище Хиетаниеми, где мертвые так и не захотели встать из своих могил, чтобы перевернуть этот грубый мирок со всеми его мелкими заботками. Где так мало красоты. И счастья. А чуда почти не бывает. Или если только его очень долго ждать. Но только оо-очччень до-ооолго!

 Невозможно описать эту музыку, но, видит бог, та прекрасна. Как *она*. Чтобы что-то понять в любви, надо услышать Сибелиуса. И подойти к его памятнику. В том, *ее*, городе: правда-правда! Быть может, финский скрипач знал об этом.

Дослушав, я вынул диск из музыкального центра и разломил на три неровные части: должно быть, Сибелиус понял бы меня. Должно быть.

В общем, со мной такое нечасто! Я висел на поручне и пытался читать: что-то не напрягающее, *не ее*, какой-никакой Акунин (Павича забыл дома) – просто чтоб отгородиться от мира, в котором пролы всех стран продолжали и продолжали соединяться в плотные ряды, даруя мне незабвенное «чувство локтя». Пришлось купить в подземном киоске наименьшее из зол: «Белый бульдог» оказался самым пристойным чтивом среди моря… хорошо, что я не помню этих фамилий… хорошо, что не знаю… Потом все равно, где-то на четвертой странице, стало скучно: я осмотрелся. Рядом стояла Та, про которую… короче, *породистая* такая Та с длинным черным шарфом и – я пригляделся, а она быстро отвернулась – с глазами Франсуазы Саган. «Если отменить встречу… перенести… – счетчик заработал с бешеной скоростью. – Куда она едет? Что знает про Хельсинки? Счастлива ли здесь? Наверняка не замужем… Но не может, чтоб у нее никого не было… Так не бывает! Или бывает? Что я теряю, в конце концов? Сколько можно…?!» – так я впервые предал *ее*.

 А Та стояла в какой-то очень неудобной позиции – третьей? первой? черт ее знает, – *выставив* левую стопу перпендикулярно правой. И ОЧЕНЬ ПРЯМАЯ СПИНА! Балерина? Я разглядел спину уже на Пушкинской, когда пролы, заполонившие собой все пространство вагона, наконец-то немного рассеялись.

 Та читала. Я посмотрел на обложку: «Такая легкая эвтаназия», и меня как будто включили – я уже не мог молчать: «Вы балерина? Вы держитесь совершенно… особенно». Та будто не удивилась, прикрыла *ее* книгу, и, улыбнувшись, ответила: «Вы угадали. Странно», – в любом случае, разговор про-дол-жал-ся!

«*…На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя, искала его и не нашла его…»*

Я стал расспрашивать про книгу; Та отвечала просто и коротко: «Да. Нравится», или: «Нет. Не сложно. Очень тонко». Чтобы чем-то зацепить действительно *прекрасную* незнакомку (они существуют! И пусть кто-то попробует сказать, будто это не так!), я многозначительно и немного небрежно произнес – так говорит знаток, раскуривающий гаванскую сигару, спокойно и печально: «Мы учились с *ней* в Литинституте. В прошлом веке» – «Вот как?» – балерина и вправду заинтересовалась. – Так значит, вы… филолог… или… писатель?» – она подняла брови. Красивые такие брови, как у Анук Эме в «Восьми с половиной». «Ну… – промычал я. – Пишу не очень много, а известность Пелевина мне не грозит. Вышло две книги…» – «Как ваша фамилия?» Я назвал, а потом вспомнил: мы так и не представились, но уже через секунду подумал, что не хочу знать имени – ведь у *нее* так давно не было имени! Я не мог его произнести! – во всяком случае, мне не хотелось ничего о-боз-на-чать. Это создание – балерина – было хрупким замком из песка. *Ее,* финляндского, песка… Я никогда не трогал тот руками, да и был ли он – песок? СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ – ПОЛЕЖАЕВСКАЯ. Та кивнула мне и направилась к выходу. Я оценил всё: длинную клетчатую юбку – очень стильную, уютную вельветовую куртку «от кого-то», узконосые красные ботинки и… какой-то невидимый дымчатый шлейф: у *нее* был такой же, я не мог ошибиться, не мог! Собственно, кроме *нее* – той, что живет сейчас в Хельсинки и на «ура» ставится в России – я никого… никогда… а тут… Черт, видел бы меня сейчас Женька! Он никогда не мог до конца понять моего чувства к *ней*; у него в кармане всегда смеялись презервативы… надо мной. Правда, Женька мог бы легко все опошлить, предложив те мне: «Ты чего, старик, в монахи записался? Зря! Я вот вчера с одной барышней…» – я слушал его всегда действительно с интересом, хотя все Женькины приключения были похожи. Он выбирал определенный сорт женщин (с большой грудью, с мозгами и собственными квадратными метрами – не любил гостиниц), поэтому сценарий разворачивался приблизительно один и тот же. Не знаю, как Женьке не надоедало. Не представляю, как это все терпела его жена – женщина с большой грудью, мозгами и собственными квадратными метрами. «Ты чего, старик? – я будто услышал Женькин голос. – Давай, дуй! Она очень даже…»

 Я вышел за Той из вагона. Впрочем, голос моего друга был не при чем: я вышел бы за Той *по любому*.

 А Та направлялась к Магистральным улицам – удивительно неприглядной московской промзоне, которую я ненавидел: я ведь жил когда-то неподалеку.

«*…Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и* *не нашла его…».*

И тогда я сказал. Той. Набегу. Иногда очень важно просто СКАЗАТЬ! Той. «Понимаете, я не маньяк. И не сволочь. Родился в Питере. В Москве лет пятнадцать. Без матжилпроблемз. Окончил Лит. Живу один. Люблю Эллингтона. Паркера. Не ем мясо. Машина в автосервисе, поэтому сегодня на метро… Занимаюсь бизнесом, хотя это и звучит так пошленько… С жирком… Если вы сегодня свободны… Пойдемте вечером в ресторан, а? Пойдемте пожалуйста! Просто так. Не говорите НЕТ! Не говорите. Пожалуйста-а! Вы были в «Парижской жизни»? Там тапер играет джаз. Классный такой джаз! Там крутят Чаплина. Там венские стулья. И хорошая еда… я могу показать вам паспорт, если хотите…» – тут я развел руками и остановился от собственного совсем уж идиотского предложения: хм-м, паспорт! Дебил!

 Та тоже остановилась. Прохожие толкали нас, но мы ничего не чувствовали: нас как будто «заморозили». Наверное, со стороны все это могло показаться сумасшествием. Особенно *ей*. С высоты *ее* хельсинскогополета. Но не полета Той. Которая стояла сейчас на Магистральной улице. В очень холодной Москве. Моей Москве.

«…Мне нравится в «Парижской жизни». Я пойду», – Та легонько отодвинула мою руку с паспортом. Мы стояли на улице и улыбались. Потом Та сказала, что опаздывает. И написала номер мобильника на старом проездном. Голова пошла волнами, как когда-то в юности шел волнами асфальт под ногами после травы. Неужели я забуду *ее*?! Неужели решусь предать свое воспоминание? Самое лучшее, разъединственное воспоминание?! Ради… этой балерины?

…Мне тридцать пять, и… «чукча не писатель», надо быть честным.

Я, на самом деле, совсем один. Раз в середине жизни можно признаться.

 Я ждал Ту за столиком одиннадцать минут. Та пришла в маленьком черном платье – впрочем, какая разница? Даже если б Та пришла в халате… и все же, хорошо, что *это* не являлось халатом. Я заказал вино и попросил. О балете рассказать попросил! Потому как разве есть теперь что-то более важное, чем балет? «Влюбился, – крутился со страшной силой счетчик. – Влюбился!» Та как-то замялась: «У меня травма… Сейчас я не в форме… Уже полгода…»

*«…Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением…»*

И тут я все понял: и про глаза, и про «дым», и про книгу… «Я работаю теперь в цветочном магазине. Знаете, – она сделала большой глоток вина, – несмотря на то, что, как говорят, у цветов нет нервной системы и органов чувств… они всё чувствуют. И все эти дискуссии на тему присутствия-отсутствия у растений эмоций и памяти… Знаете, когда человеку плохо, его цветы на подоконнике нервничают... Страдают вместе с ним… Я знаю точно!» – она покачала головой так, словно знала что-то тайное, и повторила: «Абсолютно точно». Потом сказала, что дома у нее бегония, с которой можно разговаривать по утрам. Потому что бегония любит утром. Араукария, с которой хорошо беседовать на ночь. Потому что араукария любит темноту. И кофейное дерево, которое всегда молчит. «Наверное, оно нем*о*е», – улыбнулась Та.

#  А тапер играл, а Чаплин смеялся, а свечи горели… И тут я неожиданно понял, что не стану больше – никогда! больше! не стану!! – набирать в Яndexe *ее* имя и смотреть, идет ли дождь в Хельсинки.

 Я испугался. Закурил. Шутка ли, столько лет!.. *Она*. А потом стало легко. Вдруг. До боли! И очень тихо. Как будто из меня что-то вырезали, и образовалась пустота, которая вот-вот должна заполниться… но еще не заполнилась. Я смотрел на Ту, не отрываясь, пока любовь на пуантах не превратилась в фарфоровую кроху в балетной пачке и не прыгнула на блестящую поверхность музыкальной шкатулки; и что-то из Сибелиуса зазвучало… впрочем, я не знаток классики.

Захлопнув игрушку и положив ее в карман, я расплатился и вышел вон.

**\_\_\_**